

Автор представлен членом Художественного совета **Михаилом Шербом**

ПАСТВА

«Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?» (Рим 7, 24)

Одни едят Тебя, Господи, это мужчины,
тела их из смерти, бедные, бедные,
а Ты им вода живая и черствый хлеб:
макают в воду, долго во рту держат,
но не бывают сыты.

Другие пьют Тебя, Господи, не напьются,
тела их из смерти, в глазах отчаянье, голос нежен,
а Ты им вино хмельное, перебродивший сок,
им хлеба не надо, ведет их жажда,
и голову кружит.

Есть третьи, Господи, это дети,
они поют тебя, Боже, и этим сыты,
они про хлеб забудут, про воду не вспомнят,
они совсем не знают, зачем вино.

Поют лозу виноградную, и дикие яблоки,
урчащий живот, и это чувство под ложечкой:
как будто кушать хочется, но не голод.

А это радость восходит от живота выше,
набухает за грудиной,
черпает слово из сердца
и прорастает в гортани песней.

Вот-вот вырвется кличем победным,
музыкой громогласной, симфонией света,
но слышишь – становится песенкой детской,
пастушьим ля-ля из дудочки ивовой,

в последний момент переходит на шепот:
выдох предсмертный – так отлетает душа
с едва уловимым звуком,

и мир, онемев, глядит
сам на себя синими, как озера, глазами,

кружатся бабочки, ветер пригнул травинку,
божья коровка застыла, раскачиваясь на маятнике цветка,
кот лениво потягивается
в тени медоносной липы –
вот Твоя паства, Господи, посмотри,
и какая кругом тишина.

* * *

*«...Твоя любовь,
дыша, в меня их обмороком входит».*
Надя Делаланд

Случается ведь обморок вещей,
когда они мертвеют на минуту,
и ты не знаешь, как себя назвать
среди них, и их названья тоже
затеряны в пустотах бытия:
вот шкаф, он больше шкафом не зовётся,
и мать его, смолистая сосна,
сосною быть перестаёт,
и больше – вся материя беззвучна,
беспамятна, неузнана, беззуба,
губами ловишь воздух, и ни слова
в нём больше не звенит,
и мелкими горошинами звуки
отскакивают в пустоту,
где всё – возможность,
и предел вещам не задан,
и жизнь – предвосхищение вещей.
Они очнутся, ты их назовёшь:
кровать и стол, пиджак повис во мгле
на стуле колченогом и убогом,
и книга распласталась на столе.
А было так: не липкий влажный морок,
а голое внезапное ничто.
И ты обезоружен перед Богом.

* * *

1.

июль явился бабочкой в окно,
скорее цветом, чем прикосновеньем,
скорее тишиной, чем...
перед грозой такая тишина!

а мы смогли бы бабочкой в просвет
из своего присутствия молчать:
намёком, взмахом,
жизнью смерть поправ,
смотреть из глубины цветов и трав?

лучась, как детство, явленное нам,
чтоб стать надеждой,
хижиной дощатой
в запутанных темнеющих ветвях
(как хорошо сбегать туда в июле!)

не забирай меня отсюда, смерть!

2.

- а если я умру, - спросило детство, -
зачем тогда кузнечики в траве?

- а если я умру, - спросила юность, -
зачем тогда жасмин перед грозой?

- а если я умру, - спросила зрелость, -
зачем тогда налитые плоды?

- а если я умру, - спросила старость, -
зачем тогда вязание и сон?

- а если я жива, - спросила смерть, -
зачем тогда меня вы так боитесь?

и человек, смущенный, замолчал,
потом чему-то долго улыбался
в густые седоватые усы.

а рядом с ним, как мать, сидела смерть
и гладила младенческие кудри,
и называла именем домашним.

СОБИРАНИЕ СЕБЯ

1.

Бывает так, как будто я – не я,
как будто я *была* уже когда-то,
и сыновья счастливые бегут,
и смех звучит за точкой невозврата.

Рассыпалась, как бусы, по земле:
сын соберёт и сложит аккуратно
в своё ведёрко, белое, как смерть,
и не вернёт сокровище обратно.

Смотрю на сыновей: их тоже как бы нет,
им пять и сорок пять как будто лет,

и на меня глядят, как на старуху,
и младший тянет жилистую руку –
меня поить колодезной водой,
и он меня не помнит молодой...

Сломалось время, выбилось из сил.
Часы устали ждать и суетиться.
А может быть, сознание подводит,
и жизнь моя надломленная – снится?

Я отряхну саму себя, как сон.
Всё, кажется, уже когда-то было.
Растерянно, как дети в темноте,
меня зовут отчаянно все те,
кого любила.

2.

Мне восемь лет, и я впервые я,
в зеленой майке с белозубым зайцем
и в джинсовых с заплатками штанах,
в траве лежат резиновые сланцы,

над миром – середина 90-х,
но это для меня непостижимо –
я постигаю реку и себя.
Отец и мама где-то далеко,
я их сейчас почти не различаю,
лишь изредка, как тени, проступают
красивые встревоженные лица –
мне боязно, что это не они,
а настоящих я почти не помню.
Смотрю туда, где ракушки в песке
на мелководье, и река искрится,
и кажется, что так смеется детство
пескариками с желтой чешуей.
Мне восемь лет, сижу на берегу
и камушки неловкими руками
бросаю в воду – непременно тонут,
и по воде расходятся круги.

* * *

Я мылась в дедовском саду,
ковшом зачерпывая воду,
колодезную,
на солнце разогретую,
из цинкового старого ведра,
но солнце пряталось,
и тело тонкое
покорно отзывалась
едва заметной дрожью,
ознобом мелким и гусиной кожей
на матовой поверхности
молочных бедер,
живота, груди,
испугом маленьких сосков.

А яблоня роняла лепестки,
или легчайших бабочек прозрачных,
или сидели ангелы на ней
и мне на плечи опускали крылья,

нет, крохотные крылышки,
молочно-белые,
чтобы меня ласкать?

И не было ни сна, ни мысли,
ни времени, ни боли – ничего,
так незаметно проступала
реальность, суть, я впитывала кожей
всё то, что ни присвоить, ни назвать –
почувствовать, как дуновенье,
и отпустить – пускай течет вода.
О, слишком дивный сон
о юности!
Моей, чужой?
Забывать, забыть, запомнить...

* * *

ничего не было слаще
неспелых антоновских яблок
в мокрой траве у дома
после грозы, в июле...